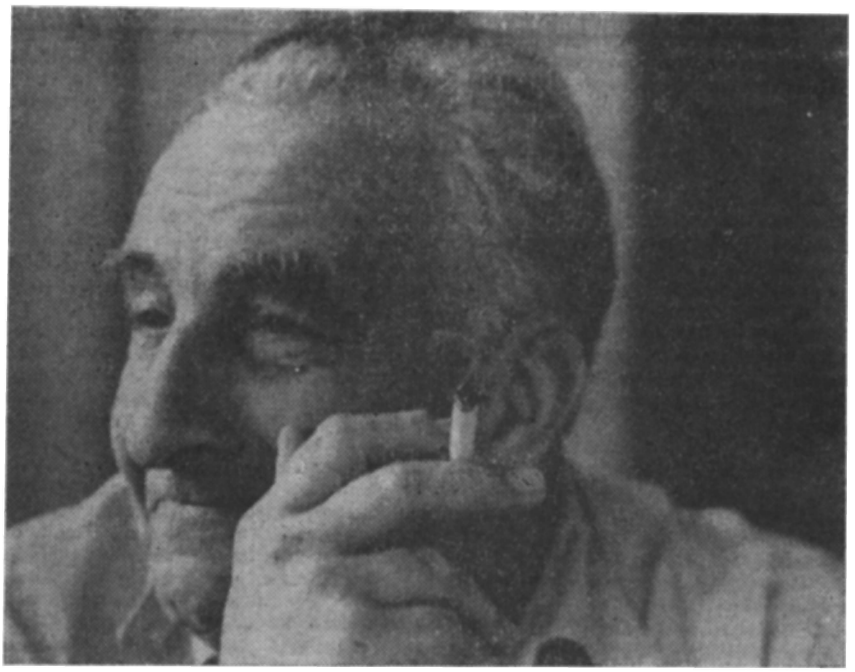
ISSN 0134—241X

уральский следопыт

1992 12



На снимке: Н. В. Тимофеев-Ресовский (фото 1973 года).

ВЕЧЕРНИЙ МОНОЛОГ

Юрий АЛАН

О моем собеседнике, старейшем ученом, в последнем издании Большой советской энциклопедии написано следующее.

Советский биолог Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский родился 7 сентября 1900 года. Ученик С. С. Четверикова и Н. Н. Кольцова. В начале двадцатых годов пришел в Институт экспериментальной биологии. Затем двадцать лет работал в Германии. По возвращении в СССР Тимофеев-Ресовский руководил отделами Института билогии нынешнего Уральского научного центра и Института медицинской радиологии в Обнинске. Теперь он — консультант Института медико-биологических проблем Министерства здравоохранения СССР.

Тимофеев-Ресовский — один из основоположников количественной радиационной генетики и радиационной биогеоценологии, автор многих исследований по генетическому действию излучений, позволивших сформулировать основные представления современной радиобиологии — принцип попадания и теорию мишени. Он создал (совместно с М. Дельбрюком) первую биофизическую модель структуры гена и предложил возможные пути его изменения.

Тимофеев-Ресовский — член президиума Всесоюзного общества генетиков и селекционеров имени Н. И. Вавилова и Академии искусств и наук США и Академии «Леополдина» (ГДР). Он награжден Менделеевской и Дарвиновской медалями, Кимберовской премией и золотой медалью «За выдающийся научный вклад в генетику» (США).

«Среди генетиков Советского Союза старше меня разве только Ян Янисович Лусис из Риги, ученик Филипченко и Петроградского»,— говорит с веселой самоиронией Ресовский.

А вот как просто-таки пламенно написал о Ресовском, о его вкладе в науку другой наш известный генетик, покойный ныне академик Б. Л. Астауров. «Характеристика «генетического вклада» Н. В. Тимофеева-Ресовского лишь перечнем его исследований дала бы, однако, очень бледное представление о его роли в генетике, если забыть о других сторонах его необычайно яркой индивидуальности. Широкая русская натура, неуемная кипучая энергия, заражающий оптимизм и научный энтузиазм, искрометное веселье и острословие и вместе с тем строжайшая логичность и лаконизм мышления, последовательность, чеканная ясность и убедительность речи природного педагога в соединении с незаурядным ораторским талантом... до конца идущая бескомпромиссная смелость и прямота научных суждений и позиций, энциклопедическая эрудиция и все запоминающая память, любовь, если не страсть, к устным выступлениям, докладам, лекциям, дискуссиям, шумным спорам на научные темы, к «крику и гаму» (шуточные характеристики генетических дискуссий, расшифровывающиеся как намек на споры о молекулярно-генетических представлениях Ф. Крика и Г. Гамова) сделали Тимофеева-Ресовского громогласным трубадуром генетики, подлинным учителем для многих и многих советских биологов, особенно же для юных умов».

Вот какой страстный панегирик! Но удивительно, что добрейшей академик Б. Л. Астауров вовсе не перехлестнул, а перечислил действительно существующие, действительно сверкающие грани личности Ресовского.

Восьмидесятилетний старик неслабеющим басом сотрясает тесную от книг комнату, энергично жестикулирует. Весь день он проводит в кресле, и телефон поставлен так, чтобы был под рукой, и необходимые книги рядышком, и все нужное для чая перед ним, на столе, чтобы лишку не трудить больные ноги, не ходить с кухни да на кухню. Смотрю на него, сидящего в кресле, одинокого в этой квартире, и он мне кажется космонавтом, который дежурит в станции, летящей по высокой орбите, и ждет с Земли звонка...

Думаю с грустью, старик весело рассказывает о своем детстве...

— По-видимому, в пределах нашего обширного отечества я совершенно особенный человек... Вас изумляет моя нескромность? Не спешите осуждать. Моя особенность в том, что я был немыслимо обкакан пеликаном. Это неповторимое событие случилось накануне первой мировой войны в окрестностях замечательного озера Тенгиз. Там есть безымянное малосоленое озерко, на нем меня и пометила птица. Я был тогда всего-то гимназистом, но в тех краях путешествовал вполне самостоятельно. Мне нужна была шкурка пеликана, я обещал ее прислать одному музею. И вот я вижу, как плавает стая курчавых пеликанов, как хитро загоняет на мелководье рыбешку, чтобы там заглотить ее. Конь подо мной был казацкий, из таких, что не убегает от седока, если тот, скажем, сверзился с седла на землю. Поэтому я стрелял, сидя в седле, и не боялся потерять коня, случись шмякнуться в камыши в минуту азартной стрельбы. И вот я палю и попадаю в пеликана, а прочие птицы, естественно, взлетели и понеслись прямо надо мной. Я поднял к небу лицо и смотрел на стаю. Птицы, разумеется, были перепуганы, и с некоторыми из них приключилась медвежья болезнь. Посыпался помет, и одна какашка шлепнулась мне на лоб. Она была абсолютно омерзительная, потому что непобедимо воняла рыбой. От страшной вони я просто упал с лошади, тотчас вскочил и в одежде бросился в озеро отмываться...

Хвалюсь не без оснований, что я совершенно особенный человек. И в Америке, и в Европе, и в нашей стране много, много лет спрашивал у десятков зоологов. Пеликаны никого так весомо не обделали, никого — только меня!

В гимназические лета я дважды бывал в Карелии. В четырнадцатом и пятнадцатом годах. Плыл один на лодке по Онежскому озеру. Добирался до Кандалакши. Пешком пересекал Кольский полуостров, и считаю, что тоже он назван моим мальчишеским именем — Коля.

Мальчишкой я был знаком со знаменитым знатоком искусства Игорем Грабарем. Он попросил меня на Севере, во время моих скитаний там по весям, собирать для него «бублики». Вы знаете, что это такое? Нет, помилуйте, это не баранки. Так назывались в начале нашего века иконы. Я бродил по заповедным местам староверов, у которых уже тьму лет попы отбирали дониконовские иконы. И хранили отнятое так. В верхнем уголку икон проделывали дырки, продевали в эти отверстия веревочки, а в позднее время и проволоку, и так нанизывали иконы, как бублики, и получались связки. Их и сдавали в ризницы церквей. Повсюду были «бублики». Я ходил по селам, непременно жалуя своим гостеванием и беседой батюшек. Подолгу чаевничал с ними, но и о деле помнил. Полученные связки икон я отправлял Грабарю по почте. Кое в каких деревнях батюшки подолгу отсутствовали, уезжали с народом на сенокос. Тогда я катал на лодках скучающих поповен — светловолосых северных девушек — и намекал им, что меня интересуют «бублики». Бывало, мне подавали девичьи руки очень старые иконы...

Многое меня увлекало в тех походах. Разбирался уже в юные годы в церковной архитектуре. Знал толк и в церковном пении. Профессор по гистологии Иван Фролович Огнев, да художник Нестеров, да моя милость, гимназист, по средам и воскресеньям ходили по столице и смотрели всякую церковность, и слушали певчих. Я, например, любил басов и потому коллекционировал басовитых дьяконов Москвы.

Так что в северных походах я любовался памятниками деревянного зодчества, как теперь говорят, да слушал поющих батюшек как любитель и даже знаток. А поповнам во время прогулок пел я, конечно, не надоевшие им псалмы, а романсы Вертинского. Он тогда появился в Москве и был в большой моде. Я пел «Сероглазого короля» или тягуче выводил: «Куда ушел Ваш китайчонок Ли, где Вы теперь...» Это — про Веру Холодную, необозримо тогда популярную актрису. Пел хмельное есенинское. Так что, как видите, растревоженные поповны не могли не удовлетворить моего интереса к «бубликам».

Я полюбил Карелию. За всю жизнь был в этих краях семь раз. Только с женой, с Лелей, четырежды плавал на Север. Теперь по Мариинской системе плывешь в комфортабельном теплоходе. И русская старина все менее жива в тех землях.

Лучше всего на свете плыть по реке! Плавал я и по соленой воде, но в море скучновато. Вообще мы с Лелей хаживали почти по всем рекам — по Днепру, по Каме, по Белой, по Оби, по Иртышу. Дважды по Енисею до Диксона. По Амуру до Татарского пролива. Не успели сплавать по Северной Двине... Любил я реки, их покой. Наглядишься на берега вдосталь, можешь плыть, читая детектив, ведь детективы — это самые стоящие книги в дни отпуска.

По причине разумности моих родителей и отчасти моего раннего развития я рос не маменьким сынком, а самостоятельным мальчишкой. Несколько лет мои родители имели дачу на реке Ирпень, это правый приток Днепра. Я пропадал там дни и ночи в очерети — в зарослях камыша и тростника. Отец купил мне челнок, и на нем я пробирался сквозь эти джунгли. В первое же лето подружился со стариком-рыбаком. И учился у него ориентироваться в опасной очерети. Вскоре старик умер и завещал мне там, в глубине камышей, островок с шалашом, который я сильно улучшил, и у меня появился свой летний дом. После смерти старика я продолжал дружить с его внучкой, одноногой девчонкой Галей, которой громадное колесо фуры отдавило ногу. Она стыдилась ходить на виду у людей, а в челноке чувствовала себя превосходно и ловко им управляла. Галя навещала меня на дедушкином острове, и мы ловили рыбу.

Однажды мама и тетки потеряли терпение и подняли шум. Мол, я когда-нибудь утону в этих камышах и мне пора, наконец, прекратить всякие плавания по Ирпени. Доложили отцу. Он без лишних слов приказал следовать за ним и пошел к реке. На берегу он молча взял меня одной рукой за штаны, а другой за ворот рубахи, поднял, раскачал и бросил в омут. И потом стоял, скрестив руки на груди, как Наполеон, и наблюдал за мной. Я все понял... Нырнул и долго плыл под водой. Затем махнул к противоположному берегу. Потом вернулся. И опять отплыл от берега и показал, что умею плавать и кролем, и брассом, и как хочешь.

Вышел на берег. Отец молча зашагал домой, я — за ним. Дома он сказал женщинам: «Когда кто-то будет тонуть, позовите Колюшу». Больше мне никто не мешал исчезать на весь день в «жуткой» очерети.

Тринадцатилетним я уже вступил в общество по спасению на водах. Это было в Киеве. Станция располагалась около цепного моста. Особенно тяжело было в ледоход. Мы надевали специально промасленные комби-

незоны и шерстяное белье, и десять минут в этом одеянии можно было плавать среди льдин. Только бы не раздавило. Потому в частные дела больших льдин вмешиваться не рекомендовалось. На правой моей руке была полуперчатка с тяжелыми медяшками на пальцах. Это чтобы оглушать утопающих, которые мертвой хваткой цепляются за спасателя. Такое случится, тогда надо было поджать ноги и потом резко оттолкнуться ими от тонущего, оторвать себя от него, и оглушить боксерским ударом в челюсть, и отбуксировать к берегу... За несколько лет я выудил девятнадцать душ. Кроме того, наверное, десяток душ не на дежурстве...

Я ведь и в науке начинал как мокрый зоолог. Воду люблю. Занимался смолоду гидробиологией. Собирал рыб. С. Н. Скадовский и я (это уже на Звенигородской биостанции) два лета ездили по всей Европейской части нашей страны. Это было в начале двадцатых годов. От отца у меня сохранился подарок — толстые, из вороненой стали часы «Омега». А у Скадовского были золотые часы. И вот мы закладывали свои хронометры и на вырученные денежки готовились в летние экспедиции. Мы со Скадовским для Главрыбы определяли продуктивность озер. До сих пор помнится, как дивный сон, увиденное тогда Переяславское озеро. Плывут и плывут неостановимо в памяти рыбацкие лодки с рыжими парусами... Осенью, когда Главрыба выплачивала нам гонорар за полевую работу, мы со Скадовским шли в ломбард, выкупали часы, заводили их и слушали веселое тиканье.

Всегда помню также и нехороший эпизод своего детства... Сие случилось в Пинских болотах. Я, гимназист средних классов, ушел на несколько дней в природу. Со мной было ружье, я неплохо стрелял. Однажды прямо на меня дуром вышел лось. И я его с ходу убил! Мясом покормился несколько дней. Шкуру снял, засолил и позднее отправил в Зоологический институт. И все же до сих пор раскаиваюсь, что сделал те выстрелы. Никакой нужды в еде не было. Никакой научной необходимости убивать зверя не было. Сработал инстинкт: увидел зверя — застрели его. До сих пор стыдно!

Почему-то вспомнилось, как научился читать... Отец мой был силен. Пятилетнего, однажды он подкидывал меня к потолку и с кем-то одновременно страстно беседовал. Подбрасывал он меня крепко, потолки, напомню вам, тогда были отменно высоки, и — отвлекся отец, и забыл на секундочку о том, что я в воздухе... Я потом долго с гордостью носил сломанную руку на перевязи, как раненый солдат, изображал также участие в демонстрации, держа в здоровой руке вместо флага женский платок. И в эти-то тяжелые дни «ранения», когда меня не выпускали из дому, я и выучился читать. Отец мой был по образованию гибридный фрукт. Закончил физико-математический факультет Московского университета. Стал астрофизиком. Вскоре во Вселенной случилось такое: кто-то стал против кого-то, какая-то планета выстроилась против какой-то, и мой батюшка ринулся в Среднюю Азию, чтобы вести там звездные наблюдения. Однако удивился он больше всего не тому, что происходило тогда в небе, а тому, что вершилось на земле. В небесах был стройный порядок, а на земле царил хаос. Дороги, дороги были невообразимо плохими! Под этим сильным впечатлением от российского бездорожья отец поступил учиться в институт инженеров путей сообщения. Впрочем, астрофизическую диссертацию в те годы он тоже успел сделать. Мои родители поженились немолодыми, но детей у них было шестеро, а я самый старший и потому выдавал самые отчаянные номера. Учиться я начал в Киеве, в Александровской гимназии, где озорников наказывали карцером, чего я тоже вкусил. Помню такую проделку. В любой булочной изволят жить в сытости тараканы. Мы покупали там за пятак пакет усатых пруссаков. Почему-то француженка преподавала у нас русский язык, и вот ей-то мы устраивали... Самый долговязый мальчик приклеивал к потолку тараканов. Начинался урок. Насекомые высвобождались и пикировали на Ольгу Владимировну, а она, естественно, визжала. Притепывал сторож, но виду не подавал, старый, что понимает, откуда сыплются тараканы. Разве это не настоящее было приключение — дождь тараканов? Разве не риск — за это и исключить могли из гимназии.

Нет, хоть учиться тогда начинали с шести лет, чтобы подготовиться к гимназии, а иностранные языки усваивали и того ранее, но как-то я не засушился, а был непоседлив...

Вокруг хутора Стоинка, где мы живали каждое лето, когда мне было немного годов, стоял дубовый лес с ореховым подседом и примесью сосен. Среди этого леса таилось кладбище. Оно почиталось самым романтическим местом округи. Там молодые назначали свидания и, чтобы испытать свою любовь, являлись на встречу после наступления сумерек. А мы, мелкота, шпанка, придумали героический вид спорта. Днем на кладбище уносился какой-нибудь предмет и клался на какую-либо могилу. Ночью надо было пройти через лес, на кладбище, взять с могилы предмет и принести приятелям. Таким образом и доказать, что ты смелый. В лесу высился знаменитый дуб, подле которого, как рассказывала легенда, похоронен был добрый богач Липоман. В дубе зияло большое дупло, в нем по вечерам горели свечи, там какие-то люди оставляли крестики и привязывали ленточки. Видимо, таким манером они счастья и богатства просили у Бога. К дубу ходили вечерами и влюбленные парочки. Мы, мелкая шпанка, брали пустую тыкву и вырезали в ней дырки — глаза и рот. Внутри тыквы зажигали свечку и брали все это в руки, заворачивались в простынь. И вот такая фигура с тыквенной головой вдруг возникала у древнего дуба перед влюбленными. И, бывало, кавалер улепетывал, а невеста в обморок падала... Забыл сказать: темечко у тыквенной головы мы тоже прорезывали и в эту щель пробивался свет, это было похоже на светящийся нимб. У религиозно настроенных молодых людей из-за этого душа совсем приходила в полное смятение...

Украину, страну моего детства, мы покинули после смерти отца. Мать решила переехать в Москву, где были ее друзья, например, семейство Реформатских...

В старших классах гимназии я решил, что не буду более спать восемь часов в сутки, не совершу глупость — проспать треть жизни. На Арбате я оббегáл в начале ночи четыре раза квартал и потом сидел за книгами до трех часов. Вставал в половине восьмого. В гимназию не уходил, а убегал. Первые три месяца было весьма тяжело. Но такой режим навсегда утвердился в моей жизни. Когда встречались с Николаем Ивановичем Вавиловым, могли две ночи подряд разговаривать, я прожил жизнь без снов. Спал глубоко. Это теперь ем сонные лепешки. Ночи напролет не могу спать. И сны в старости стал, видимо, видеть. Ибо, случается, проснусь — и собственная комната кажется чужой не чужой, но странной. Значит, во сне меня где-то носило...

В 1910 году открылся московский свободный городской университет Шанявского. Там были естественный и гуманитарный факультеты. Там известные профессора читали научно-популярные лекции. Еще гимназистом я уже слушал эти лекции. В свободный университет мог поступить любой человек не моложе шестнадцати лет. Даже неграмотный мог стать студентом. Там я впервые слышал великого Кольцова, который организовал в этом университете кафедру экспериментальной биологии. Здесь же я слушал лекции по искусствоведению Грабаря. В этом учебном заведении после окончания гимназии училась и моя будущая жена. В 1919 году я был у Кольцова старостой большого зоологического практикума, где и повстречался с Лелей...

Волосы его белы, но не такие редкие, еще чувствуется, что недавно это была львиная грива. Он большенос,

У него крылатые брови. Нижняя губа ягодкой. В полосатом таджикском халате и серых брюках, в шлепанцах встретил меня в прихожей. Я начал объяснять, что, дескать, пришел ненадолго, что постараюсь не обременить беседой... Он обрубил:

— Будем говорить, сколько надо! — Привычно пошутил: — Одно обещаю: при вас не умру, не бойтесь! Хотя и старик. Недавно стал стариком. После смерти жены. После смерти Лели...

В гостиной во всю стену, за коей кухня, стеллаж, а на нем папки с сорока тысячами оттисков научных статей.

Ресовский знакомит с гостиной, не вставая с кресла.

— На этой стене рисунки Олега Цингера, художника-прикладника. Он живет в Париже. Слышали о «Занимательной ботанике» Цингера, о книге, которая впервые была издана в начале века, и одобрена Лениным позже, а потом много раз переиздаваемой? Эту книгу написал отец Олега. Я с Цингерами знаком давно, а теперь переписываюсь с Олегом, точнее, он мне пишет. Мне, вооружившись лупой, писать трудно, а только так я и могу, да и вообще я не люблю это занятие. А Олег пишет письма на старинном русском языке, забываемом ныне, забытом. Был у меня в гостях писатель Даниил Гранин и читал письма Олега. Он также считает: это изящные миниатюры на чудесном русском языке, он полагает, их надо сохранить для потомков... Не правда ли, вот этот рисунок Олега — хорошо? Тот, где матрос в белой форме стоит на тротуаре, где ослик тянет повозку, а в ней — возница. Увидели? Мой брат, один из спасителей Баргузинского заповедника, купил эту книгу, на которую вы смотрите, в Иркутске. Она издана на немецком языке и рассказывает о путешествии одного европейца в Сибирь. Да, а мой брат пришел купить тогда омулей, а не книгу. Он попросил у тетки на базаре омулей, она взяла в руки эту книгу и стала тянуть за листы... Брат увидел сие и закричал, как от боли, остановил злодеяние и купил книгу.

Николай Владимирович махнул рукой в сторону спальни: «А там, там беллетристика»,— и взгляд его был устремлен в себя. Очевидно, он все еще видел своего брата...

В кабинете тоже книги, книги, книги. За письменный стол сесть невозможно. Между тумбами понатолканы стопки реферативного журнала.

Заговорили о поэзии... Ресовский сказал:

— Маяковского я так и не принял. Есенин не был мастером версификации, как Валерий Брюсов, но у него есть гениальные стихи, одна десятая его стихов — гениальные... Если же сначала идти, то часто вспоминаю Ломоносова, Державина.— Пауза волнения. Затем добавил: — И, конечно, Пушкин... А Лермонтов? Молод, а как успел! Дураки мы были: ругали Тютчева и Фета. Нет, они не сюсюкали, не воспевали обленившихся мужиков, а занимались настоящей поэзией. У них не было реализма?! Кто же такое сказал? А что такое реализм? Это художественная убедительность! Она у них была, была — убедительность.

И снова голос дрогнул.

— Запомните это, запомните... Анна Ахматова — да, это поэтесса, но Марина Цветаева — это поэт! Я знал Цветаевых, знал Марину...

И еще я люблю одного поэта, о существовании которого никто не знает. Он ученый и стихов своих не печатал. Но это сейчас самый умный поэт Москвы, может быть, и самый умный в России... Разумеется, я так считаю, потому что это мой друг.

А проза? Мне нравятся Даниилы — Данин и Гранин. Иногда они бывают у меня. Вы читали «Неизбежность странного мира» Данина? Один мой приятель, профессор, опирается на эту, в общем-то, популярную, а не строго научную книгу даже на лекциях. Данин — литературно одаренный физик и потому лучше всех пишет о физиках, уж конечно, лучше тех писателей, у коих нет склонности к естественным наукам. Данин не сразу узнал, что он писатель. Сначала закончил университет. Тут — война. И он служит в газетах. Сначала в дивизионной, потом в корпусной, потом в армейской. Так он в физику после войны вернулся журналистом. Но подумал, подумал и опять ушел в писательство.

Из современных писателей мне нравится Гранин. Чудная у него книжка об Австралии! Хороший человек и за границей находит хорошее. Хоть его книжка называется «Месяц вверх ногами», но чужедальнюю страну он не перевернул вверх ногами, а показал ее такой, какая она есть.

Когда меня спрашивают, в каких странах Европы я был, отвечаю: «Не был только в Португалии». Однако и туда меня не один раз приглашали почитать лекции — в Коимбрском университете. Да все было некогда. В Европе я бывал везде. В Копенгаген приезжал десятки раз, много раз гостил у великого Бора. Больше всего люблю Италию, Норвегию и Англию. Там, и там, и там есть интеллигенция. Будете во Флоренции, помните, что там нищий за десять лир покажет вам город так, как это не сделает искусствовед. Так знают Москву старые таксисты. И слушать их всякий раз особое волнение и радость. Приедете во Флоренцию, будет вам нищий предлагать свои услуги — не отказывайтесь, доверьтесь ему, не пожалеете...

Ресовский в который раз предлагает мне что-нибудь съесть.

— Вам сделать творог с кефиром или со сливками? Это приятная и полезная вещь! Я обычно пускаю туда энное количество капель коньяку — получается совсем замечательно.

Налили чаю. Помолчали.

Наверху — шум. То ли бузит телевизор, то ли соседи выясняют отношения. На дворе уже темно. Оказывается, разгулялся ветер. Прислушались. И будто что-то у нас ветер выхватил и унес, а что-то принес — вдруг тема нашего разговора обновилась.

Ресовскому вспомнилась его тревожная молодость, годы гражданской войны:

— Был с детства непоседлив. Штанцы не протирал на стуле. И презирал болезни и даже — о, как жестока молодость! — презирал больных людей. Ибо считал, что болеют только плохие люди, а хорошие чувствуют во всем меру и до старости здоровы. Жизнь моя была, общем-то, запретительная. Умирал я на разные манеры. Замерзал — оттерли снегом. Топ, когда был спасателем, еще в гимназические годы. Умирал от голода, но выкарабкался с помощью врачей. Последствия этого: погиб центральный зрительный нерв, и осталось мне в подарок от судьбы лишь боковое зрение. В гражданскую войну был тяжело контужен и легко ранен. Умирал от тифа в «ссыпном» пункте. Так прозвали места, куда свозили людей с фронта, куда «ссыпали» больных тифом...

Читал я тогда до пятидесяти часов в неделю — и на рабфаке, и в институте. Тем не менее жалованье было на несколько трамвайных билетов. Спасал красноармейский паек, его я получил за пение в хоре Московского военного округа. Пел басом казацкие, солдатские песни.

Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же наши матки?
Наши матки — белые палатки...

— Или вот маршевая песня: «Выйду ль я на реченьку».

И уже запел Ресовский новую песню, крепким, грозным басом:

Во субботу в день ненастный
нельзя в поле работать...

— А вот эту песню солдаты певали на привалах:

Прощай, девицы, прощай!
Угоняют, угоняют нас от вас.
В чужедальнюю да во сторонку
На погибель, эх, да на погибельный Кавказ!

И вспомнил Николай Владимирович еще одну песню, и запел ее, и разволновал себя...

Спите, орлы боевые,
Спите со спокойной душой,
Много вы горя видали,
Спите со спокойной душой...

— Страсть к пению, музыке, надеюсь, унаследовал от бабушки. Она умерла девяностолетней. Родилась в 1824 году, при Александре I, а умерла во втором году Октябрьской революции. И пожила бы еще старушка, но и в холодной и голодной Москве она тогда не пропускала театральных премьер, а такие случались. И пошла она однажды на оперу в Большой театр, пешком, разумеется, и простудилась. Шла с Никольского переулка, от Смоленского рынка до Большого театра. Намерзлась, и спектакль не понравился. Через три дня моя бабушка тихо скончалась. Перед смертью пришел ее причастить батюшка — тоже древний старик, и стал вовсю путать молитвы. Бабушка тихонько поправляла его.

Девичья фамилия моей бабушки — Невельская, была она из роду того знаменитого адмирала, присоединившего к России Дальний Восток. Вообще среди моих предков было много военных моряков...

Жизнестойкостью, силушкой и самого-то Ресовского природа не обделила, под стать он своей бабушке. Среди ночи я уходил от него в гостиницу и в прихожей пытался отнять у старика свое пальто, потому что он непременно хотел помочь.

Иногда кажется, когда беседуешь с Николаем Владимировичем, что ученый с мировым именем, старый человек тратит себя попусту, гневаясь на дурновкусие в искусстве, на недостатки школьного образования, на грубость работников прилавка и на прочая, прочая, прочая.

— После войны в вузах началась невероятной силы специализация. Однажды в мою лабораторию прислали трех специалистов по вакуумным насосам. Это было примерно то же, если бы в какую-то столовую привезли бы ткацкий станок. А почему направили вакуумщиков? Их был тогда переизбыток. Тот начальник из министерства высшего образования уже, возможно, давно был на пенсии, а его приказ о всемерном увеличении выпуска физиков-вакуумщиков все продолжал действовать. Только один из присланных нам вакуумщиков сумел преодолеть свою узкую специализацию и стать полезным там, куда его направили трудиться. Нет, не уговорите меня, что я рассказываю о преодоленном прошлом и что теперь не бывает «переизлишек» тех или иных спецов!

Стоило нам заговорить о молодежи, как он вспыхнул от соприкосновения и с этой темой.

— Кого мы выпускаем на молодое человечество?! Честное слово, кажется, педагогические вузы ведут отрицательный отбор — отбор на недотеп. Так выпускники педвузов беспомощны потом в роли наставников! В Свердловске одно время я много читал лекций для населения по генетике. И помню, как школьные педагоги на одной из таких лекций то и дело спрашивали меня: «Скажите, пожалуйста, как быть, ведь то, о чем вы рассказываете, в школьные учебники не входит». Да почем я знаю, что там у вас в учебниках написано! Меня пригласили говорить о современной генетике, и я говорю то, что считаю важным. А уж вы сами решайте — нужно это вашей голове или не нужно. Они меня замучили этим нытьем: «То, что вы говорите, не входит в школьную программу...» Клянусь, на кондитерской фабрике я чувствовал себя лучше. Рабочие задавали отличные вопросы. И вот таких начетников, таких запрограммированных педагогов мы выпускаем на молодое человечество!

Я даже был растерян: уже много часов говорим с Ресовским, а о науке — почти ни слова. Ученый не рассказывает о науке — такое не часто встретишь! И я сказал Николаю Владимировичу, что вот, мол, в первый же день в Обнинске я узнал новость — открыто второе сердце у человека. Это мне рассказали коллеги: один обнинский радиобиолог якобы утверждает, что в человеческом организме существует сосуд, сокращающийся, как сердце.

Слушая меня, Ресовский стал раскачиваться в кресле, с боку на бок, как в лодке, и не утерпел, не дослушал меня, обрушился:

— Это журналистский тык на ударность информации, на модность! Второе сердце! А пульс в руке бьется — это тоже сердце? А в ногах бьется пульс — это третье сердце? Завиральные идеи, когда они приходят к простым людям — это только плохо. Если они у таких людей, как Любищев,— это хорошо, потому что Любищев будоражил мыслящих биологов. А если завиральные идеи посещают головы таких деятелей, как Лысенко, то это уже беда...

Прошу Ресовского, после некоторой паузы, назвать свою самую любимую научную работу. Ответил без раздумий:

— «О статистичности и принципе усилителя в биологии». Из трехсот моих работ наберется с десяток хороших. Эта — хорошая. Статью писал с Шальновым и Савичевым, думаю ввести ее главкой в новую книгу. Она сейчас уже пишется, эта книга. Вчера мы работали и развели тут изрядный крик по поводу одного абзаца, я даже несколько устал... Прочитайте «О статистичности...» Там излагается, что такое биология. Правда, вместо статистичности надо было сказать «неопределенность», было бы понятнее. Это не блажь ученых, а новейшая аксиома: чем неопределеннее представление о сложностях живой природы, тем они истиннее. Старое мышление можно назвать жестким, мышление это, которое обещает вывести мировую формулу. Но если мир будет объяснен одной формулой, то зачем тогда все разговоры о проявлении свободной воли? Если все заформулировано, предопределено, то не нужна никакая борьба. Да, современные физические представления сложны, а события на атомном уровне иногда ненаблюдаемы и непредсказуемы. Но не только физики могут «гордиться» непомерной сложностью изучаемых объектов, биологи тоже «горды» тем, что, к примеру, мутацию предсказать немыслимо. Какой процент мутаций ожидается в том или ином случае, можно вычислить по правилам Аррениуса и Ван-Гофа, а какая это будет мутация — сие непредсказуемое событие. Непредсказуемо, когда атом излучит такой-то квант, непредсказуем чих ни мой, ни ваш, хотя догадаться не трудно, что, скажем, я простуженнее, чем вы...

Впрочем, напрасно я разговорился о статье. Ее надо либо читать, либо не читать. Только хотелось сказать, что она рассчитана не только на биологов, а на любой философски настроенный ум. Не люблю, когда нынешние биологи стремятся математикой заменить логику. Посмотрите-ка историю науки, действительно крупные математики никогда не любили засилье формул. В нашей статье нет формул. А принцип усилителя может понять любой, представив нашу планету, на коей вершится чудо размножения зверей, птиц, растений, людей; размножение — это и есть принцип усилителя, усилителя жизни!

* * *

Жизнь исследователя Ресовского началась на Звенигородской гидрофизиологической станции у С. Н. Скадовского. Эта станция была идейно и организационно связана с Кольцовским институтом. Ресовский начал как гидробиолог, однако довольно скоро стал интересоваться генетикой популяций дрозофил...

Особая глава научной биографии Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского — радиобиологические исследования, начатые сразу после войны. Во всем мире тогда искали способы защиты от атомных излучений. И то, что делал в те годы на Урале Ресовский, делалось впервые в мировой науке...

1979 г.